

Максим Осипов

Два рассказа

Опубликовано в журнале Знамя, номер 12, 2013

Об авторе /Максим Осипов живет в Москве и в Тарусе. Постоянный автор «Знамени» с 2007 года. Публикации нынешнего года — рассказ «Волною морскою» (№ 1) и повесть «Кейп-Код» (№ 6). Короткая проза М. Осипова удостоена премий им. Юрия Казакова (2010) и Ивана Бунина (2013).

Польский друг

История начинается не с анекдота: анекдот разрушает, уничтожает ее. «Как Ока? — Ко-ко-ко». Конец, смех. Истории надо расширяться, двигаться.

Вот девочка прилетает в большой западноевропейский город. В одной руке — сумка, в другой — скрипичный футляр. Молодой пограничник спрашивает о цели приезда. Долго рассказывать: надо кое-кому поиграть, один инструмент попробовать... Девочка плохо знает язык, отвечает коротко:

— Тут у меня друг.

Пограничник разглядывает ее паспорт: надо же, почти сверстники, он думал — ей лет пятнадцать. А почему виза польская? Он пустит ее — Евросоюз, Шенгенское соглашение, — но она должна объяснить.

Польскую визу получить легче любой другой. После небольшой паузы девочка говорит:

— В Польше у меня тоже друг.

Пограничник широко улыбается. Ничего, главное, что пустил.

Это уже начало истории.

Девочка учится музыке лет с шести, как все — со старшего дошкольного возраста, теперь она на четвертом курсе консерватории. Ее профессору сильно за восемьдесят, всю свою жизнь она посвятила тому, чтобы скрипка звучала чисто и выразительно. В целом свете не сыщешь педагога славней.

— Слушай себя, — говорит профессор. Это в сущности все, что она говорит. — Что с тобой делать, а?.. Подумаешь, она любит музыку. Вот и слушай ее на пластинках. Ну, что ты стоишь? Играй уже.

Выдерживают не все, но, в общем, выдерживают. Один и тот же прием приходится повторять годами, пока она вдруг не скажет: была б ты не такой бестолковой... Значит, вышло, и будет теперь выходить всегда.

На сегодня закончили. Девочка укладывает скрипку в футляр.

— Скажи, — неожиданно спрашивает профессор, — а на каком инструменте ты в детстве хотела играть?

Станный вопрос. На скрипке, конечно же.

Профессор как будто удивлена:

— И как это началось?

Так, объясняет девочка, на старой квартире скрипка была, восьмушка, даже без струн, и вот она повертелась с ней перед зеркалом...

Профессор произносит в задумчивости:

— Значит, твоя мечта сбылась?..

Что это было — вопрос или утверждение? И кого она вообразила себе в тот момент — не эту ли свою ученицу лет через шестьдесят? Или что-нибудь вспомнила?

Мы рассматриваем фотографии тысяча девятьсот тридцать четвертого года. На них будущему профессору десять лет. Те же правильные черты, отстраненность, спокойствие. Программка: детский концерт — Лева, Яша, она. Если бы снимки были лучшего качества, то слева на шее у каждого из детей мы бы заметили пятнышко, по нему можно опознать скрипача.

Следом еще фотографии, из эвакуации, и снова Лева, Яша, с взрослыми уже программами, еще — Катя и Додик, так и написано. «Значит, твоя мечта сбылась...» — тоже, конечно, история, но развернуть ее не получится, не нарушив чего-то главного, чего словами не передашь.

«Одной любви музыка уступает». Уступает ли?

Вернемся к польскому другу: вскоре он опять помог девочке.

Из Европы она привезла себе редкой красоты бусы, и на вопрос одной из приятельниц (именно так, нет у нее настоящих подруг) ответила, сама не зная, зачем:

— Польский друг подарил.

Приятельница тоже скрипачка, многословная, бурная — пожалуй что чересчур. Иногда, впрочем, ей удаются яркие образы:

— Открываешь окно, а там... военный! — так она передает свои ощущения от какой-то радостной модуляции.

Замуж тут собралась, удивила профессора:

— Замуж? Она же еще не сыграла Сибелиуса!

Пришлось приятельнице к другому преподавателю перевестись.

— Рада за тебя, подруга, — отзывается она по поводу бус. — Думала, так и будешь одна-одинешенька, как полярный кролик.

Так польский друг стал приобретать кое-какое существование. А вскоре выручил, как говорится, по-взрослому.

Найти скрипку — такую, чтобы она разговаривала твоим голосом, — всегда случай. У этой, внезапно встреченной, про которую вдруг поняла, что с ней уже не расстанется, звучание яркое и вместе с тем благородное. Не писклявое даже на самом верху. Итальянская, по крайней мере наполовину, среди скрипок тоже встречаются полукровки: низ от одной, верх от другой. Нестарая — так, сто с чем-то лет. Добрый человек подарил, сильно немолодой. Много всего любопытного остается за скобками, но ни девочка, и уж ни мы тем более никогда не узнаем подробностей. Человек добрый и обеспеченный и с большой совестью, а у кого из добрых людей она не больна? Подарил с условием, что она никому не станет рассказывать.

Приятельнице тоже скрипка понравилась.

— Сколько? Для смеха скажи.

Девочка пожимает плечами: какой уж тут смех?

— Тоже польский друг подарил? Да-а, страшно с такой по улице.

— А с ребенком не страшно по улице? — Приятельница уже родила.

— Никогда не любила поляков, — признается она. — Зря, получается?

Получается, зря.

— Гордые они, с гонором.

Девочка друга в обиду не даст:

— Это не гонор, — отвечает она, — это честь.

— Он приезжает хоть?

— Ничего, если я не буду тебе отвечать?

Приятельница все про себя рассказывает — и про мужа, теперь уже бывшего, и про того или тех, с кем встречается. Какие там тайны? — подумаешь, ерунда!

— Как зовут его, можно узнать? — Обиделась: — И целуйся с ним, и пожалуйста.

Так о польском друге становится известно в консерватории. Щедрый, со вкусом, есть чему позавидовать. «В тихом омуте черти водятся», говорят про девочку люди опытные. Но они ошибаются: в этом омуте нет никаких чертей.

Окончание консерватории — дело хлопотное. Хочется для экзамена по ансамблю выучить что-нибудь необычное. Девочка слушает музыку для разных составов, вот — трио с валторной, может, его? Спрашивает у валторниста с курса, считается, лучшего:

— Знаешь такую музыку?

— Нет.

— А хочешь сыграть?

Валторнист прислушивается к себе.

— Нет.

На госэкзамене пришлось обойтись без валторн.

Теперь, когда консерватория позади, нам вместе с девочкой надо переместиться в будущее. Не только слушать, смотреть, записывать, но и угадывать, воображать. Можно ли, например, было предвидеть будущее детей с той фотографии тридцать четвертого? Вероятно, да. Потому что, во-первых, случайностей нет, а во-вторых, судьба — одна из составляющих личности, так нам кажется.

Конечно, многие внешние обстоятельства нельзя угадать. Пусть случайностей нет, но неопределенность, и очень большая, имеется. Например: сохранится ли наша сегодняшняя страна? Ее предшественница при всей своей мощи оказалась недолговечнее обыкновенной скрипки, для которой семьдесят лет — считай, ничего, несерьезный возраст, семидесятилетние инструменты выглядят совершенно новыми, ни одной трещины, мастера даже их пририсовывают иногда. Теперь нам кажется, что и стране нынешней, наследнице той, в которой выросли Лева с Яшей и Катя с Додиком, не уготована длинная жизнь, трещинам на теле ее нет числа, и она распадется, рассыплется, хотя, возможно, выйдет не так. Не надо выдумывать, пусть история сама развивает себя.

Или вот: новая техника. Зачем уделять внимание вещам, которые обновляются столь стремительно? Лева с Яшей прожили жизнь, ничего не узнав о компьютерах, и, говоря откровенно, вряд ли хотели бы знать. До совершенства всем этим штукам еще далеко, имеет ли смысл разбираться в том, как они устроены? Опять-таки: на чем станут люди перемещаться лет через тридцать, к окончанию нашей истории? С помощью каких

устройств будут переговариваться, на чем слушать музыку? Не хочется фантазировать, да и не все ли равно?

Кое в чем мы, однако, уверены. Смычки будут по-прежнему обматывать серебряной канителью или китовым усом, в колодки — вставлять перламутр, а на детских скрипках, восьмушках и четвертушках, не перестанут появляться тонкие дорожки соли, от слез: дети играют и плачут, не останавливаясь, не прекращая играть.

На серьезные вещи — на политику, экономику — музыка влиять не начнет, а если и поучаствует в них, то по касательной, косвенно. Выяснилось ведь недавно, что, когда дети находились в эвакуации, производитель роялей «Стейнвей» договорился с американским командованием, и оно разбомбило «Бехштейн», конкурента, разнесло его в пыль, до последней клавиши. Наивно себе представлять мировую историю как соперничество фортепианных фабрик, тем более что ни «Ямаха», ни «Красный октябрь» ни в чем таком не замешаны. Зато приблизительно в те же дни рябое низкорослое существо отпустит шуточку в адрес германского друга, бывшего: у него, скажет он, — Геббельс, а у меня — Гилельс. Чувства, которые вызывает эта острота, убеждают нас в ее подлинности, в том, что именно он ее произнес.

Впрочем, за этой политикой мы уклонились от главной темы — отношений девочки с польским другом. Рывками и с повторами история идет вперед.

Поездки, поездки — на фестивали, на конкурсы: не жизнь, а сплошной рев турбин, стук колес, вряд ли за следующие десять—пятнадцать лет возникнут новые виды транспорта. После тридцати двух уже не играют на конкурсах, но появляются первые ученики. Разумеется, будет всякое, человеческое, как в любом деле, но не они решают — не интриги, скандалы и закулисные договоренности. В чем разница между скрипачом, который, стоя перед оркестром, исполняет концерт Сибелиуса, и теми, кто ему сидя аккомпанирует? — они тоже умеют этот концерт играть. Уровень притязаний, личности? Говорят: судьба — но это ведь все равно как ничего не сказать.

По возрасту вовсе не девочка, она сохранит, закрепит что-то детское в своем облике. Артисту необходима поза — слово нелестное для профессии, зато точное. Хирургу, учителю, даже военному — им тоже требуются, как угодно: молодцеватость, индивидуальное отношение, — а уж артисту без позы не обойтись. И большая удача, если твоя фигура, тонкая, чуть угловатая, и детское выражение лица соответствуют тому, что ты делаешь, если в тебе самой от игры возникают и радость, и свежесть, и удивление.

Итак, она музыкант — прекрасно наученный, с маленькой тайной, о наличии польского друга, кажется, знают все. И даже если у нее появятся дети и муж — должны появиться, куда же без них? — хотя при такой сосредоточенности на игре, на штрихах, интонации, можно и правда остаться одной — так вот, даже им она не раскроет тайну. Улыбнется, не станет рассказывать, да никто и не спросит ее ни о чем.

Дача, дом на Оке. Примерно месяц в году это большая река. По утрам она ходит смотреть на разлив: на желтоватую воду, на торчащие из нее прутьи. Удивительно, с каким постоянством ежегодно воспроизводится эта жалкая красота.

— Как Ока? — спрашивает приятельница, только проснулась. Позаниматься приехала, у нее осложнения: конкурс надо сыграть в оркестр, чтоб не выперли. — Может, для смеха вспомнить Сибелиуса?

Очень вышла из формы с окончания консерватории. Кладет инструмент:

— А давай выпишем Рому с Виталиком, как ты думаешь? Шашлычков поедим, поговорим за жизнь. Можешь с Ромой меня положить, а можешь с Виталиком. Тебе кто больше нравится?

Очень заманчиво, но, увы. Должен явиться один человек...

— Польский друг? Я смотрю, это серьезно у вас.

Да уж, серьезнее некуда.

— Надо, выходит, и мне отчаливать. Не хочу твоему счастью мешать.

— Доброе у тебя сердце, — скажет она приятельнице на прощание.

— А ума нет совсем, — засмеется та.

Приятельница уедет, а она в тот день будет смотреть на весеннее небо и на деревья. Поиграет не много, но хорошо: навыки, приобретенные в ранней молодости, не теряются. Еще, конечно, умение слушать себя.

Предложения, аналогичные этому, с шашлычками, с Ромой-Виталиком, часто к ней поступают в поездках — там легко образуются связи, которые трудно потом развязать. Но не в одних лишь делах практических выручает ее польский друг. И не то что она забудет, что он — только выдумка для приятельниц, пограничников или, скажем, заинтересуется польской культурой как-то особенно, или станет учить язык: поляки, которых ей придется встречать, и правда окажутся с гонором. Да и виза польская давным-давно кончится. Евросоюз, Шенгенское соглашение — кто знает, что с этим Евросоюзом произойдет?

Человек разумный не верит фантазиям, но то, о чем говорят десятилетиями, тем более шепотом, приобретает важнейшее свойство — быть. Так легенды — семейные и общенациональные — начинают если не исцелять, то во всяком случае утешать. Лет с сорока (ее лет) польский друг станет ей иногда сниться, а верней — грезиться. Ни имени, ни голоса, ни лица, так — что-то неопределимо-приятное. Утром, незадолго до пробуждения. Если польский друг появляется накануне важных концертов, значит, все пройдет хорошо.

С годами количество этих самых концертов несколько снизится, зато станет больше учеников. Педагогический дар у нее не такой мощный, как у профессора, да и детей она предпочитает хвалить. И хотя в похвалах ее есть оттенки, и очень существенные, слез в ее классе проливается меньше, чем во времена Кати и Додика. Все равно какой-то уровень влажности неизбежен, даже необходим.

К окончанию нашей истории музыкальный мир вряд ли сильно расширится. С миром взрослым, миром производительных сил и производственных отношений, музыка будет вести все то же параллельное существование. Немолодая уже женщина, она опять прилетает в западноевропейский город — тот, с которого все началось. Фестиваль камерной музыки, очень привлекательный вид музицирования, и для участников, и для слушателей: уютный зал, всегда полный, программа отличная — счастье, когда зовут в такие места.

Сохранятся ли через тридцать лет бумажные ноты? — и без них много всего надо везти с собой: скрипку, смычки, канифоль, струны, одежду концертную. Польский друг не объявлялся давно, но размышлять о нем некогда, на сцену приходится выходить каждый день. Все играется с одной репетиции, максимум с двух, без ущерба для качества — настолько высок уровень исполнителей. Утром порепетировать, днем отдохнуть, вечером

посмотреть на партнеров, одного или нескольких, кивнуть: с Богом, вытереть руки платком перед самым выходом — и сыграть.

Дело идет к развязке, последний день. Трио с валторной, то самое, наконец-то она сыграет его, да еще заключительным номером. И валторнист изумительный, так говорят — она его раньше не слышала.

Что-то он, однако, опаздывает на репетицию. Они с пианистом, рыжим стареющим мальчиком, давно ей знакомым, посматривают свои партии, ждут. Наконец дверь открывает некто с альтом: их разве не предупредили? — все сдвинулось. — А валторнист? — Съел вчера что-то несвежее, но к концерту поправится. Валторнисты любят поесть, им это требуется для вдохновения, для дыхания.

Альтист улыбается. Его вызвали только с утра, но он эту музыку знает, всегда мечтал поиграть в их компании, надеется никого не разочаровать. Впрочем, он и нужен только для репетиции. Высокий, немножко седой — ладно, не время разглядывать, уже задержались на час.

Начинают играть. Очень скоро оказывается, что эту музыку она себе представляла именно так. С конца первой части в ней поднимается радость, особенная, из каких-то неизвестных отделов души, ничего похожего прежде не было. Надо следить за музыкой, не за радостью, слушать себя и других, но радость присутствует и растет.

Музыка имеет дело с едва различимыми длительностями. Ритм, даже не ритм — метр, биение пульса, самое трудное — добиться того, чтобы был одинаковый пульс. Остальное — громче-тише, штрихи — поправить было бы проще, но и тут ничего поправлять не требуется: хорошо у них получается, прямо-таки пугающе хорошо.

В звуке альта много страсти, тепла, желания поговорить о важном, о главном, узнать про нее, о себе рассказать. Скрипка ему отвечает:

— Смотри на деревья и небо и меньше думай о важном, — приблизительно так.

Доиграли, выдохнули. Пианист подает голос:

— Там, где трели, я не очень мешал?

Нет, он вообще не мешал.

— Между прочим, у меня в этом месте соло. Можно, наверное, повторить?

Они переглядываются — альт и она: можно, но мы не станем этого делать, лучше уже не получится.

Немец польского происхождения. Всю свою жизнь он провел в этом городе. И ее видел, девочкой, на прослушивании в школе музыки, он тогда тоже на скрипке играл. Подойти не решился. Дела у него обстояли неважно, пока не перешел на альт. Теперь в здешнем оркестре работает. Здесь приличный оркестр. А играла она замечательно, чисто и выразительно, он всю программу ее может назвать.

Руки у него большие, красивые, круглые, и, как у нее, до крови содрана кожа возле ногтей, надо же — даже невроз у них одинаковый. Он провожает ее до гостиницы и говорит, говорит. Он придет ее слушать вечером, а после концерта... После концерта имеет честь...

Никогда не знала, где сердце находится. В горле, вот оно где.

Проводил, поклонился, ушел. Стало быть, он... вон он какой. Мысли беспомощные, бессвязные. Вечером, после концерта... Радость, где радость? Куда-то ушла.

Она сидит на кровати, без цели замком от футляра щелкает. Польский друг, польский друг. Значит, мечта сбылась? Что-то сердце не успокаивается.

Вдруг: где смычок? Ужас, смычок посеяла! Вспотевшая, красная, мчится в зал, в котором они репетировали, лишь бы не встретить ЕГО, понятно кого, не сразу находит нужную дверь, как-то все у нее разлетается в стороны.

Приходилось ей всякие мелкие вещи терять — ключи, украшения, тот же паспорт, и даже крупные — чемоданы, например, пропадали, и не один раз, но смычок — такого еще в ее жизни не было. Слава Богу, нашла, на рояле лежал.

Все на месте, казалось бы. Не зная зачем, она звонит устроителям. Чего уж там? — страшно, страшно ей.

— О, — устроители рады, — как раз собирались на вас выходить. Валторнист совершенно оправился. Посмотрите с ним текст, пожалуйста, уделите ему часок.

— Нет, — она едва сдерживается, чтобы не плакать. — Невозможно, нельзя!

Она знает, она сама выбрала, но меньше всего ей хочется играть именно эту музыку. Что-то она произносит, противореча себе: про то, что дома дела, что заболело плечо. Зачем они говорят про контрактные обязательства? Ни один номер не отменялся из-за нее, никогда, правда ведь? Она просит их вызвать водителя, пусть дадут ей уехать тихо, придумают что-нибудь.

И только по дороге в аэропорт чуть-чуть успокаивается. «Одной любви музыка уступает», вертится в голове. Кто, кому тут и что уступил?

В самолете она сядет у окна: деревьев, конечно, не видно, зато неба — хоть отбавляй. Вернется домой — Бог знает, как страна ее будет к тому времени называться. Мы, впрочем, говорили уже о стране.

Спустя день или два войдет в класс, посмотрит на ученицу, скажет:

— Ну, что ты стоишь? Играй уже.

июнь 2013 г.

Комбинат

В войну жили хуже. Да и после войны — не особенно хорошо. Лучше нынешнего никогда не жили.

Городок называется Либкнехтск, но многие по привычке зовут его Комбинатом, хотя сам комбинат несколько лет уже не работает, зарастает кленами и травой. Ветшает и дом Японца. Хозяин его, Сашка Оберемок, из местных, в Японию убежал. А, может, и не в Японию, нету разницы: из жителей городка за границей побывал только дядя Женья, он в начале восьмидесятых в Польше служил.

— Расскажи, дядь Женья, как ты был за границей.

Надо поговорить о чем-то, не сидеть же так.

— Они, значит, бузить начали...

— Кто — они-то?

— Кто-кто — поляки. Мы приехали, ракеты раскинули...

— И что поляки?

— Да черт их знает! Что нам, докладывают? Наше дело — позицию за-тнать. У нас там четыре округа было. Расположились, раскинулись...

События происходят редко и плохо помнятся. Скоро три года, как закрылся Либкнехтский бумкомбинат, ЛБК, — что называется, градообразующее предприятие: конденсаторная, кабельная бумага, фильтровальный картон, гофроящики, десятки видов продукции. Со сбытом были, конечно, трудности, но работали. Валы крутятся, на валах сукно, поверх — бумажная масса сушится. Оборудование уникальное, сделано еще в ГДР.

Никто не задумывался, кому принадлежит комбинат, все ведь было всегда государственное. Трудовому коллективу, то есть работникам. А работникам надо что? — чтоб зарплату платили вовремя или хотя бы с небольшим опозданием, а во всяких там формах собственности мало кто разбирается. Менялись директора, жили как-то, работали. Жилье строили, и не только себе — учителям там, врачам.

Потом в город вернулся Сашка Оберемок, и стало понятно, кто на комбинате хозяин. Мог и в зубы дать и руку сломать или вывихнуть, как татарину одному, Сашка почему-то татар не любил. Но не только татар. Перед тем врезал девке-официантке, Сашка когда-то учился с ней — неприятно ей, понимаешь ли, обслуживать одноклассника. Говорили, нос ей сломал. Ну, она не стала подавать заявления.

А дом он построил большой, из красного кирпича, с башнями, чтобы было понятно, как он, Сашка, поднялся. Одним электрикам остался должен чуть ли не миллион — вот такой дом. Говорили: семья приедет, но никто и не видел эту семью. А Сашка в самом деле поднялся как следует, — депутат, не федеральный пока, областной, — депутат, хотя самому еще сорока не исполнилось.

Поначалу у него и на комбинате неплохо шло: взял кредиты, премии мужикам повыписывал. И себя не забыл — фирмы появились в городе новые, все его, Сашкины. А потом разладилось, перестал зарабатывать комбинат. Мужики бузят, что поляки твои. Работать, правда, не бросили.

Начальник из области приезжал, рабочих послушал внимательно.

— Я понимаю вас, — сказал, — что вы попали в такую ситуацию. Но не только вы, лесопромышленный комплекс везде сейчас валится.

И чего бузить, раз везде? Как говорится, в войну жили хуже. Кто-то из женщин выкрикнул:

— Александр Юрьевич только на освещение своего дома денег три миллиона истратил!

Начальник вздохнул:

— На освещение или на освящение? — и заседание закрыл.

Перед отъездом загадочную вещь произнес:

— У вас есть права, вы просто не знаете, как ими пользоваться.

А что фенола в воде больше нормы — вопрос, говорит, подняли правильно, обсудим его на правительстве. Это уже когда в автомобиль садился, бочком, ботинки отряхивал, зима в том году была длинная, снежная. Обещал, между прочим, с мазутом помочь, во всем городе отопление от комбината зависело. Еще, люди видели: когда проезжал мимо храма, перекрестился на храм.

Сашка тоже тогда в президиуме сидел, жевал. Он все время жевал, все последние месяцы, говорили: курить бросил, поэтому. Уже перед майскими, после суда — проценты, кредиты, банкротство, короче, полнейшее, люди даже начали Сашку жалеть: свой все-таки — объявился парень какой-то, пиджак с полосками, а на голове хвост. Кризисный управляющий. Денег он Сашке привез, чуть ли не миллион долларов, чтобы, значит, ушел по-тихому, передал комбинат новым собственникам, вместе с фирмами. Но Сашка — его, видать, разозлил этот кризисный управляющий — достает, значит, Сашка изо рта жвачку и парню — в нагрудный карман. В приемной у себя, секретарша видела. И денег не взял. А на майские заплатил мужикам нескольким, и те сукно на машинах изрезали — не склеить его, не сшить, и не на что поменять. Дал-то рублей по пятьсот, но мужики и тому рады. Всё, встали машины, так и стоят.

— Как же ты, дядя Жень? — Дядя Жень тоже резал сукно. А что он ответит, если начальник ему приказал?

Тут совсем другие какие-то люди приехали, без хвостов, и Сашка убыл в Японию. Что еще помнят? Помнят, как он с третьего этажа своего по козам стрелял, если заходили на территорию, но не попал ни разу, и стрелял-то, наверное, — попугать. Портрет остался, огромный, метра три в высоту: Александр Юрьевич Оберемок, в горностаевой мантии. И дата рождения. В каком Сашка родился году, известно и так, у него на одной руке было имя наколото, на другой — год. А на портрете он на себя не похож: можно сравнить, в Интернете до сих пор, говорят, имеются Сашкины фотографии.

Почти что три года прошло. Город живет. Так себе, не ахти, но лучше никогда и не жили. Область дает мазут, котельная функционирует, есть отопление в домах, даже вода горячая. Мужики кто в охрану устроился, кто в такси. Дядю Женю поставили на учет в центре занятости. Поэтому комбинат, Сашка Оберемок — это прошлое. А в настоящее время так: в Либкнехтской городской больнице, в реанимации, на аппарате искусственного дыхания лежит молодая женщина, Аля Овсянникова. Каждый день в больницу приходит муж, его не пускают, да он и не просит врача ни о чем. Мужа женщины зовут Тамерлан, врача — Виктор Михайлович.

* * *

К Виктору Михайловичу хорошее отношение. Во-первых, не пьет, во-вторых, человек он немолодой, с опытом, машину свою аккуратно водит и держит в порядке: всегда чистая, на ходу, одна и та же все восемь лет, что Виктор Михайлович в городе.

— Современный автомобиль устроен не менее сложно, чем человек. — Когда Виктор Михайлович говорит о машине, лицо его проясняется. — Одних только разных жидкостей в нем семь штук: тормозная, охлаждающая и так далее. — Он помнит все семь и своевременно доливает, меняет их.

В Либкнехтск его в свое время переманили из-за сертификата по анестезиологии-реаниматологии, город тогда квартиры еще мог выделять. А иначе хоть закрывай больницу — не прошла бы она лицензирования, пришлось бы всему комбинату обслуживаться неизвестно где. Операций мало, и наркоз дает анестезистка, сестра, но невозможно ведь без лицензии.

— Если надо, то надо, все правильно. Не дурее нас люди законы писали, наверное.

Виктор Михайлович получает полставки реаниматолога и целую — терапевта, он и есть скорее терапевт, хотя в жизни попробовал разное, сертификаты имеет по многим специальностям, включая организацию здравоохранения. Показатели у него одни из лучших в области: план выполняется, диспансеризация проведена, да и в отделении

порядок — сам он никуда в рабочее время не отлучается, трезвый всегда, даже в праздники. Посещения с шести до восьми, в палату реанимации, естественно, посторонним нельзя.

Виктор Михайлович лечит капельницами — и бабкам легче, все же внимание, и план. Полежала, прокапалась и — домой, к телевизору, через полгода придешь — опять капремонт. Где-то он слышал — так называют капельницы, от всех болезней, у бабок их целый букет:

— Чего вы хотите? Диагноза «старость» никто, кажется, не отменял.

Бабки ходят к нему, а к кому им ходить? Из терапевтов также имеются два участковых, две женщины, да только их к обеду уже на работе нет. Они говорят: вызывают, но все понимают про их вызывают. Обе уже пенсионного возраста: кадровый голод, но это везде сейчас так.

— Раньше существовало распределение, — говорит Виктор Михайлович, однако общие темы предпочитает не развивать.

Когда-то, бывало, думал: что плохо, что хорошо, а с годами — к жизни, к себе — привык. Как все, старается избегать неприятностей. Если просят назначить то или другое лекарство или обследование, в область послать, Виктор Михайлович спрашивает:

— А оно тебе надо? — но посылает, как правило: не пошлешь — могут жалобу накатать. Ничего страшного в жалобах нет, но приятней ведь ехать по ровной дороге, а не по выбоинам.

Рабочий день с восьми до шестнадцати. Потом все вопросы к дежурным врачам. Не любит Виктор Михайлович, когда пристают с вопросами — от чего то да это да чем лечить:

— Посмотри в Интернете. Там много написано.

Сам он компьютеры не использует. И новый аппарат ИВЛ — такие прислали во все больницы, по программе модернизации, — стоял до прошлой недели несобраным.

— Старый пес новых фокусов не учит, — любимое его выражение. Еще: — На землю спустись.

Овсянникова больная тяжелая. Тяжелых, да еще молодых, переправляют в область, если успеют. А если нет, то через дорогу, за гаражами — красное здание. Каждый неблагоприятный исход, особенно в трудоспособном возрасте, заставляет в какой-то мере переживать. Понятно, со стариками вопросов нет: в семьдесят или восемьдесят — какая реанимация?

— Имеет право, — отзывается Виктор Михайлович, когда сестры ему сообщают — понятно, о чем. Вытаскивает историю, принимается заполнять. Смотреть не идет — мало он видел покойников?

Но Овсянникова — случай особый, Виктор Михайлович рассчитывает, что она проживет еще месяц с лишним, точнее — пять недель. Хотя кора головного мозга безвозвратно повреждена, но сердце еще работает, а дыхание обеспечивает аппарат. Состояние, что называется, крайне тяжелое.

— Тяжелое, но стабильное, — отвечает Виктор Михайлович, если не получается сделать так, чтобы с Тамерланом, мужем Овсянниковой, пообщалась бы медсестра. Всем неприятно иметь дело с родственниками.

В прошлую пятницу Овсянникову доставили в больницу рожать, экстренно, до области уже было не доехать. Роды в больнице случаются редко, проходят не очень организованно. Виктор Михайлович участия не принимал, и без него найдется кому побегать и покричать. Овсянникову увидал только ближе к концу рабочего дня, когда она родила, и ребенка увезли в область, а саму ее наверх подняли. Брат не хотел: звоните, вызывайте санавиацию, у него терапевтическое отделение. Но потом взял — а не дождутся санавиации, кому отвечать? Как-никак Виктор Михайлович реаниматолог, а тут молодая женщина, давление под триста и судороги: только один припадок закончится, сразу другой.

Пока спускался-поднимался по лестницам, у самого стал затылок болеть. Зарядили Овсянникову капельницу одну, другую, полечил ее Виктор Михайлович много чем, разным, пока областную бригаду ждал. Давление сначала не хотело снижаться, а потом после рвоты упало совсем. Но тут подъехала санавиация на желтом «Фольксвагене», им реанимобили поставили новые, тоже по этой самой модернизации.

Раньше, наверное, надо было им позвонить. Но Виктор Михайлович санавиацию вызывает лишь в крайних случаях: приедут, разного наговорят, будут его в медицине учить. Ладно бы только авторитет страдал, а то ведь и не уйдешь, пока они в отделении, надо потом, как говорится, поляну накрыть. Сам Виктор Михайлович почти не употребляет, у него давление.

Новый какой-то приехал, рыжий, лет тридцать на вид. Виктор Михайлович раньше его не видал. Пуховая куртка, короткий халат, на шее ключи болтаются. Заявляет с порога:

— Давайте, рассказывайте.

Чего он должен давать? С женой будешь так разговаривать. Ну, давление было высокое, судороги.

— Ясно все. Эклампсия. Лечили чем?

Виктор Михайлович держит себя с трудом. Давление снизили? — снизили. Что ты в лист назначений заглядываешь? Может, ампулы показать? Какая же эклампсия, если она уже родила?

— Бывает. В первые сорок восемь часов. Слушайте, да она не дышит у вас!

Потом Виктор Михайлович не очень запомнил: у самого ноги ватные, в глазах туман. Но тоже помог, поучаствовал. Этот трубку поставил, собрал аппарат, наладил искусственное дыхание. Глядя на то, как он ручки крутит, нажимает на светящиеся прямоугольники, Виктор Михайлович не выдерживает:

— Хорошо вам, молодым, вы иностранные языки знаете. А нам до всего своим умом пришлось доходить.

И чего он смешного сказал?

Закончили, сняли перчатки, пошли в ординаторскую. Трудный был день, надо расслабиться. Звать его то ли Эдиком, то ли Эриком, Виктор Михайлович не разобрал. Ему — полную рюмку, себе на доньшке.

— Что теперь? — спрашивает Виктор Михайлович. В смысле: не забереешь? Понятно, что нет. — А если придет в сознание? Руки бы надо, наверное, зафиксировать?

Парень пожимает плечами:

— Вряд ли. Мозги, похоже, уже того...

Ясно. Ничего не поделаешь.

— А что она за человек? По виду вполне социальная.

Кто его знает? По виду — да. Такие вопросы, лучше не концентрироваться на них.

— И какой тут у вас контингент? Бабки одни, наверное?

Кто же еще?

— Бабки, да. И рабочий класс.

Опять смеется:

— Я думал, он только в книжках остался, рабочий класс.

Посидели, поговорили о всяком, не относящемся. Например, когда уже дороги нормальные сделают. Вот, кстати, Виктор Михайлович давно хотел выяснить:

— А правда, на тех «Фольксвагенах», что у вас, двигатели оппозитные?

Парень смотрит на него не поймешь с каким выражением.

— В Интернете, — советует, — посмотрите, там точно есть. А насчет нее, — кивнул в сторону реанимации, — звоните. — Оставил свой телефон.

Как можно ездить на автомобиле и не интересоваться, какой у него цилиндрический ряд? Виктор Михайлович хоть и устал, а еще задержался, дооформил историю. Лучше сразу, а то вылетит из головы к понедельнику. Эклампсия, значит. Пусть так. Смотрит в справочник: код — О15. И никаких посторонних мыслей. Иначе с ума сойдешь, будет эмоциональное выгорание.

В начале недели этот, из санавиации, позвонил сам:

— Как она, не пришла в себя? Тогда — всё, наверное?

Нет уж, Виктор Михайлович попробует ее подержать. Сорок два дня.

— Откуда цифра такая странная?

Что же ты, академик, не знаешь простых вещей? — думает Виктор Михайлович. Сорок два — шесть недель. В первые шесть недель после родов это считается как материнская смертность, а если потом, то нет. Порядок такой. Что, не пишут про это в твоих интернетах? На землю спустись. Вот так.

* * *

Аля Овсянникова девяносто первого года рождения. Алина мать умерла родами, никто не знает, что стало с отцом. Дядя Женя — ее единственная родня, отчество Али — Евгеньевна. Но спрашивать его о родителях дело пустое: дядя Женя и Польшу не помнит, в которой служил. Не так уж он выпивает сильно — как все, но что-то с ним в последнее время сделалось. Тамерлан считает: потому, что он машины на комбинате тогда поломал. Еще говорит: молодец, что маленькой не отправил ее в детдом, девяностые годы были для всех трудные. Але даже не приходило в голову про детдом.

Что она помнит сама, первое? — Вот, перед горячей печкой дядя Женя купает ее в тазу. Прежде они очень часто топили печку, Алина обязанность была — кору отдирать у дров. Конечно, можно газет напихать, но корой разжигать интереснее. Что еще? Аля хорошо умела искать грибы, у нее была книжка специальная, читать Аля научилась в детском саду и знает, как все грибы называются.

Как она обходилась без матери? — спрашивает Тамерлан. Ей не с чем сравнивать. Тамерлан часто задает вопросы, на которые она не знает, что отвечать. Нет у Али привычки рассказывать о себе. Да и ее знакомые — соседи, учителя, одноклассники — говорят помалу, как будто с трудом. В большинстве своем люди не наглые — робкие, так она думает, и Аля тоже не наглая, и голос у нее негромкий, но к концу она иногда неожиданно повышает его. Еще она высоко держит голову, будто с каким-то вызовом, но это опять-таки только кажется.

В школе она училась ни плохо, ни хорошо, не интересовалась отметками, особенно после истории с гусеницей, с задачей про гусеницу из колодца. За день она поднимается на три метра, за ночь сползает на два, на какой день она вылезет? Колодец — пять метров.

Аля сидит в своей комнате в сумерках, уже дядя Женя вернулся со смены, из-за марлевой занавески слышно, как жарится лук. Значит, они будут ужинать гречневой кашей с луком. Дядя Женя зовет ее. — Да, сейчас! Она себе воображает гусеницу: к концу первой ночи — метр, к концу второй — два, два плюс три — пять. Значит, она выберется на третий день.

Учительница заглядывает в тетрадки, Аля тоже показывает свою. Пять, пять, у всех, кроме Али, ответ одинаковый. К ее удивлению, учительница говорит:

— Всем пятерки, а Овсянниковой — тройка.

— Ольга Юрьевна, почему не двойка тогда? — спрашивает Аля весело.

Не хочет Ольга Юрьевна портить журнал двойками, скоро в школе будет комиссия, их стали часто теперь проверять. Все же заглядывает в конец задачника, там тоже ответ — три: надо же, опечатка, а Овсянниковой лучше было бы головой своей думать, а не из книжки списывать, и вообще — она что же считает — весь класс дураки, она одна умная?

Аля почти не плачет, да и не от чего особенно, но когда все же плачет, то лоб ее покрывается красными пятнами. А так она, конечно, красивая, тонкая, пальцы длинные, все удлинненное — рот, глаза. Волосы светлые, золотистые, подружки завидуют Алиным волосам. Жаль, говорит Тамерлан, в доме нет ни одной детской ее фотографии, только школьные, официальные, на них все выглядят не такими, как есть.

Дом, вернее полдома, две комнаты, школа, кусочки природы на фоне асфальта, труб. Другого пейзажа Аля не видела. Неподалеку от школы — одинокий заброшенный памятник: «Карлу Либкнехту, рыцарю мировой революции». Сутулый, в круглых очках, с маленькой головой, чем-то он Але нравится, она иногда приходит рядом с ним постоять. Потом узнаёт, что кнехт — не рыцарь, а раб, слуга, и вовсе даже не революции, сообщает о своем открытии девочкам, те смеются — надо же, какой ерундой занята у Овсянниковой голова. У них уже — поклонники, кавалеры, одним словом, мальчишки, Аля после школы сразу идет домой или сворачивает куда-нибудь в сторону, но одна, у нее нету близких друзей. Девочки дразнятся: жди своего Карлу. Пускай: ей скучно с ровесниками, они только и могут что пиво пить и говорить матерные слова. Аля называет такие слова матными.

Как она оказалась в милиции? Место освободилось, а дядя Женя к тому времени перестал зарабатывать, на одну ее пенсию жили — Але платили как сироте, но ведь это только до восемнадцати. И форма — темно-синяя юбка, светло-синяя блузка — ей нравится. У делопроизводителя работы немного: сиди таблички перепечатывай, а больше — книжки читай. Стол ее — возле окна, светит солнце, волос падает на страницу, она подбирает, вытягивает его... Почему она после школы никуда не уехала? — спрашивает Тамерлан. — Из-за денег? — А как бы она дядю Женю оставила? Да и нигде она еще не была, кроме области, а там все такое же, как у них в городе, только большое и много машин. И потом — разве бы она тогда его встретила? Аля знает, Тамерлан поэтому и спросил.

Высокий, худой, сутулый, он появился на майские праздники с перевязанной левой рукой. Болела она у него, видно, сильно, потому что он постоянно морщился, трогал

повязку, пот вытирал со лба. Сказал: хочет подать заявление, справки принес. — Кто его так?

— Оберемок, — говорит Тамерлан. — Александр Юрьевич.

Тут уже не только дежурный, тут и другие милиционеры услышали, подошли, и Аля тоже книжку свою захлопнула — всем известно, кто такой Александр Юрьевич. — А за что? Выясняется: Тамерлан отказался портить машины и денег не взял у Оберемка, и не только сам отказался, но и другим хотел помешать. Он просит возбудить уголовное дело. По какой статье, им видней.

В бумажных машинах милиционеры не разбираются, но заявление на Александра Юрьевича — событие, конечно, из ряда вон. А гражданин, наверное, выпил по случаю праздника? На майские много травм. — Нет, Тамерлан не пьет, он знал, что вопросы будут, попросил себя освидетельствовать. Достает еще справку. Брюки у Тамерлана грязные, порванные, впечатление от него жалкое. — Может быть, он подумает? Директор, хозяин. После такого... — Пусть заявление примут, они обязаны. — Ладно, что делать, давай, говорят, пиши. — Он не может, у него рука сломана или вывихнута. Тамерлан левша.

— Идите ко мне, — говорит Аля. — Я напишу.

Так они познакомились. Потом Аля его к себе отвела, починила ему штаны. Дядя Женя поздно пришел в тот вечер и не в том состоянии, чтобы о чем-то спрашивать. Когда закончились праздники, подали заявление в ЗАГС, снова Аля писала. Пока ждали свадьбы, рука у него зажила, а про первое, милицейское, заявление, никто уже, понятно, не вспоминал. А свадьба была скромная, тихая, у Тамерлана в городе никого из родни нет. «Горько» кричали, Тамерлан ее целовал.

Удивительно: у него нету татуировок. Аля мало видела в своей жизни раздетых мужчин — у дяди Жени, к примеру, орел на груди, группа крови и всякое разное. Она думала, мальчики так с наколками и рождаются? — смеется над ней Тамерлан. И водки он правда не пьет — ни водки, ни вина, ничего. Не то что строго соблюдает обычаи, но приучили так. Тамерлан ей признался: однажды он выпил все-таки, очень много — плохо было ему потом. Сосед продавал «Волгу», универсал, пикап — Аля в машинах не понимает — так вот, Тамерлану она приглянулась, а денег не было, и сосед предложил: выпьешь со мной — отдам за половину цены. Ужасно хотелось ему напоить татарина. Но слово сдержал, машина сильно их выручает теперь, когда на комбинате работы не стало. Тамерлан на ней и в такси, и грузы по магазинам развозит разные — что дадут, то и возит, не отказывается ни от чего.

Живут они втроем с дядей Женей, полтора уже года живут. Дяде Жене стали платить в центре занятости — больше, чем в последнее время на комбинате он получал, Тамерлан каждый вечер встречает Алю возле милиции. У них планы: что-то достроить, мягкую мебель купить или съездить куда-нибудь, оба ни разу моря не видели, и хочется и того, и другого, о чем Аля не думала и мечтать. Но ни мягкая мебель, ни Черное море не слишком Алю волнуют, все приходит само — встретила же она своего Либкнехта, ни искать не пришлось, ни ждать. А потом она забеременела.

Аля, странно, даже не думала о такой возможности, а Тамерлану, наверное, хотелось детей — ему уже тридцать лет. Хотя они и про это тоже не разговаривали. Смотреть, как меняется Алин живот, трогать его, оказалось еще интереснее, чем мечтать обо всяких морях. Имена подбирать. В больницу не обращались, один только раз — сходила на ультразвук, что-то сказали ей, Аля не поняла, просила только не

говорить — девочка или мальчик, ей пока не хотелось знать. У беременных часто бывают странности. Так все и шло, до шестого примерно месяца, когда у Али стали руки, ноги, лицо отекают, и Тамерлан повез ее в область, к врачам, и Алё положили на сохранение. Ничего ужаснее в ее жизни не было, говорит она.

Во-первых, руки истыкали — ставили капельницы, это ладно, Аля бы вытерпела, но зачем-то, жалуется она, одежду отняли и, главное, телефон — заведующий считает, беременным нельзя разговаривать по телефонам — сигналы, волны какие-то, она, короче, не поняла. И никаких посещений — все боятся инфекции. Аля сидит на койке и плачет, за всю свою жизнь она столько не плакала, а потом идет в кабинет к заведующему, а там дядька сидит, страшный, лысый такой, загорелый...

Тамерлан ее обнимает, целует ей лоб, глаза.

...Загорелый, прямо коричневый. И всюду, по всему кабинету, иконы огромные, красные, с золотом, она ни у кого не видела столько икон. И грамоты, тоже золотые, серебряные. И она говорит дядьке нормальным голосом, чтобы ясно было, что она не сошла с ума, что просто хочет домой, и ей нужны вещи и телефон. А дядька отвечает, что ничего она не получит, что ей осталось лежать тут то ли двенадцать, то ли четырнадцать дней, как положено, и когда она все-таки начинает плакать, то он смеется и советует обратиться в милицию, но тут она вспоминает, что она сама из милиции, и ей отдадут и вещи, и телефон, а больничный и выписки обещают прислать, и она идет на автобус, потому что не хочет ждать полтора часа, пока Тамерлан приедет ее заберет, да и у него, она знает, дела.

Много чего другого она не рассказывает Тамерлану, про то, что случилось с ней без него, и они живут еще пять или шесть недель, и это не плохое время, хотя она уже совсем себя плохо чувствует, а потом она вдруг начинает рожать, это тоже случается неожиданно — они думали, у них еще месяц есть.

Алё увозит «скорая», и Тамерлан едет следом на «Волге», и когда ее из машины выносят, он успевает увидеть ее: и Аля тоже на него смотрит — таким взглядом, какой бывает у близоруких людей, когда у них вдруг очки падают. Хотя никогда у Али не было близорукости.

* * *

Дальше — известно что. Девочка родилась. Состояние Али Овсянниковой тяжелое, но стабильное. Виктор Михайлович рассчитывает, что таким оно и останется еще пять недель, но сам не очень верит в эту возможность. Трудно человека на аппарате держать, да и не может случиться, чтобы за месяц с лишним в больнице ни разу не отключилось бы электричество.

А жизнь пока продолжается. Дядя Женья ходит туда и сюда, пристаёт к мужикам: — Земеля, курить есть?

Ему не отказывают:

— Расскажи, дядь Жень, как вы в Польше ракеты раскинули, — но большинство знают, в каком он находится положении, просто — сигареты дают.

Тамерлан вечерами готовит поесть, себе и ему, а каждое утро отправляется в область, полтора часа в одну сторону, в детское отделение (справки по телефону запрещены), и к трем-четырем — назад, к Але, вернее — к врачу: не надо ли каких лекарств? И вообще — как ее состояние?

Виктора Михайловича обижают его расспросы. Он объяснял ведь: не требуется ничего. А хоть бы и требовалось — есть указание: покупать лекарства и средства ухода родственники не должны. Состояние стабильное.

Сегодня короткий день, пятница. Тамерлан подкараулил его на улице, когда Виктор Михайлович после рабочего дня уезжал домой:

— Как Овсянникова? Надежда есть?

Виктор Михайлович садится в автомобиль, боком, чтобы отряхнуть снег с ботинок, потом залезает в салон целиком:

— Всегда есть надежда, — говорит он, — пока человек жив.

сентябрь 2013 г